

значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всеобъединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 26. С. 148).

<sup>9</sup> См. выше прим. 5.

<sup>10</sup> Ср. в «Бесах» в диалоге Шатова и Ставрогина: «— Вы помните выражение ваше: „Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским“, помните это? — Да? — как бы переспросил Николай Всеволодович. — Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше, — вы сказали тогда же: „Не православный не может быть русским“» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 197).

<sup>11</sup> Предпочтение «древних» (античных) авторов «современным» (романтическим) в целом характерно для творчества Гете. С приведенными словами Сюареса наиболее схожи слова Гете, высказанные Ф. В. Риммеру: «Древние органичны (естественнее, человечнее), современные капризны и невозможны... У древних магическое и волшебное обладает стилем, у современных его нет. Магическое у древних — это природа, увиденная по-человечески, у современных оно надуманно и фантастично» и далее (цит. по: *Аникст А. А.* Творческий путь Гете. М., 1986. С. 399).

DOI: 10.31860/0131-6095-2021-3-25-26

© ТАДЕУШ СУХАРСКИЙ (Польша)

## МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПОИСКИ АНДЖЕЯ СТАСЮКА

В 2022 году исполнится тридцать лет со дня дебюта Анджея Стасюка (род. 1960), одного из самых выдающихся современных польских писателей. С самого начала он привлекал внимание читателей и критиков красивым, поэтическим и одновременно острым, метафорическим и подчас суровым языком. Было высоко оценено как его искусство повествования, так и смелость поднимать темы, близкие к табуированным (тюремные «Стены Хеврона» («Mury Hebronu»)). В его ранней прозе ярко проявились элементы магического реализма (подкрепленного поэтической прозой), неожиданно использованного в создании образа безнадежного постсовхозного мира («Галицийские рассказы» («Opowieści galicyjskie»)). Очень конкретная, почти осязаемая реальность в произведениях Стасюка пронизана метафизичностью. Она слышна в, казалось бы, мелком, провинциальном и плебейском мире. Стасюк пытается диагностировать личность человека, который живет в посткоммунистических частях Европы, понять его идентичность. Он путешествовал по Юго-Восточной Европе, по Балканам, а свои наблюдения и глубокие размышления об этих путешествиях включил в несколько важных книг («На пути в Бабадаг» («Jadąc do Babadag»); «Фаду» («Fado»); «Дневник, написанный позже» («Dziennik pisany różniej»)). Он мастерски изображает пейзажи, повседневную жизнь, будни. Пространственные путешествия сопровождаются путешествиями Стасюка в былое; писатель часто возвращается в молодость в коммунистической Польше. Хочет разобраться в себе, задает вопросы — кем я был, кто я, что меня сформировало.

Однако в течение многих лет Стасюк избегал поездок в Россию как будто в страхе столкнуться со страной, из которой коммунизм пришел в Польшу. После преодоления этого нежелания частые поездки в Россию (на Дальний Восток) стали попыткой поиска утраченного коммунистического мира детства. Результатом этих путешествий стали две важные книги — «Восток» («Wschód») и «На ослике» («Osiołkiem»). Эти книги упоминает писатель в заключении эссе.

Для Стасюка мир романа Достоевского — совсем другая, даже экзотическая реальность. Другие русские, иная, может быть, смешная духовность, отрешенность от жизни. В своем чтении «Идиота» Стасюк только как бы ускользает от метафизики, но видит ее там, где другие не могут заметить, и находит в Рогожине воскресителя жизни из небытия. Можно ли найти более подходящие размышления на Пасху?

DOI: 10.31860/0131-6095-2021-3-26-28

© **АНДЖЕЙ СТАСЮК** (Польша)

### ОСТАЕТСЯ РОГОЖИН?\*

Недвижимыми и тихими были эти праздники. Будто Страстная Пятница растянулась до понедельника — в одиночестве и в воображении. Может, так иногда и нужно? Без театра, с пустыми трибунами, без хора, песнопений и массового исступления? В конце концов, легче повторять жесты, подмеченные у других. Но бывает, думается мне, и труднее. Ему тоже было нелегко. Никаких церковных служб, никакой уверенности в том, чем все это закончится.

Я даже хотел было отпраздновать немного по-католически, по-нашему. Например, провести время за чтением религиозной литературы — концовок четырех Евангелий в разных переводах. Очень любопытное и духовно развивающее занятие. Но я поддался случайному искушению — а может, «змей обольстил меня», — ибо спустя лет, наверное, тридцать я достал с полки «Идиота» Достоевского.

Ту ли самую книгу читал я, будучи юнцом, а затем взрослым? Тогда я думал, что читаю о России девятнадцатого века. О стране, несомненно, интересной, но одновременно необычайно экзотической. Что ж, это было так давно и далеко, что вполне вероятно: все это — правда. Литературная, но все же правда. Все эти люди, говорящие одновременно и без удержу. Скученные где-то без еды, без сна, в темных, расплывчатых интерьерах с парой деревьев за окном — чтоб хоть что-то было. Какая-то мебель, картины, подушки, комоды, все вперемешку. Герои, вроде, куда-то даже выходят, но тут же мы видим их на прежнем месте, словно они только прошли по коридору — и опять ничего, только бурлящая болтовня, поставленная на горячую плиту невроза. Клокотание, как будто у них вот-вот выкипит мозг. «Что за страна, — наверное, думал я. — Что за страна!» Такая не похожая на остальные, такая не похожая на мою. Вроде, большая, а как из комнаты в комнату. Вроде, города — знаменитые и многолюдные — а все друг друга знают. А если не знают, то скоро узнают и поверят свои самые сокровенные тайны и чувства, о которых ты и потом-то не догадывался, а уж тем более только-только прочитав роман. И этот разрывающий легкие спазм, когда на полторы страницы — монолог, что слова не вставишь. А у них не разрывает... И вообще похоже, они задыхаются, когда молчат. Когда не перед кем высказаться. Если никого нет, они начинают умирать. Они умирают от молчания, но при этом они какие-то бессмертные, — все время теряют сознание, бледнеют, краснеют, падают, у них спирает дыхание, темнеет в глазах, они раздражаются хохотом, таращат глаза,

\* Перевод с польского © П. С. Козеренко.

пьют без меры и постоянно, с самого утра, бьются в конвульсиях, а умирает один из ста, один на всю книгу (не считая бедной Настасьи), потому что действительно болел. К тому же, он и до этого хотел застрелиться, но — как же иначе — плохо зарядил пистолет, ведь ни одно конкретное действие в этом мире невозможно. Можно только ходить по коридору из комнаты в комнату, глубоко вдыхать и разражаться этим своим словесным потоком без конца и без края, пока другой такой же отчаявшийся не перебьет и не заведет свою песню — еще длиннее, еще витиеватее, — под конец которой мы столь же глупы, как в начале, а может, и еще глупее. Потому что ничего не происходит. Ничего, кроме пытки. Ничего, кроме медленного сдираания кожи. Освежаванные человеческие туши трутся друг о друга и причиняют друг другу боль. Как у какого-то северного де Сада, лишённого следа телесности. Де Сада навыворот. Может, все это из-за холодного климата, где трудно не только с себя, но и с другого взять и сорвать покровы. А еще чувства, следа которых мы не найдем у маркиза. Все друг другу в чем-то признаются. В любви, в дружбе, привязанности, преданности, уважении, восхищении, во всех возможных чувствах, катастрофически сильных, перманентно на взводе, болезненно экзатирующих. Но одновременно все погружено в бездонное унижение. Унижение суть цель и исполненное предназначение. Унижение себя и ближнего, а потом опять себя. Кипящий котел презрения — аж подпрыгивает на конфорках, а на растопку, горсть за горстью, идет хворост чувств. Гиперборейское садо-мазо. Дальше — только лапландцы со своими северными оленями. Действие происходит на краю света. Так это бывает, когда провинциалы дорвутся до прозы — пленников они не берут. Эге-гей! И у нас есть психология! И у нас есть свои полярные оргии! В этой ледяной тьме! Смотрите, как мы это делаем! Как поедаем себе подобных, чтобы выжить! Как пожираем сами себя от любви! Как питаемся ближним! Мы — эскимосы, и из еды у нас есть только собственное мясо! Так смотрите же, как мы это делаем, там, где нет ни пищи, ни климата, ни капусты кейл с баклажаном, а вместо Платона и Петrarки у нас протопоп Аввакум... Да.

Первый раз я читал это в отрочестве. Вскоре после того возраста, когда мальчики выбирают, за индейцев они или за ковбоев. Скорее всего, читал я без понимания, но я отлично помню, что болел за Рогожина — ни в коем случае ни за князя-привидение. Оно сновало туда-обратно и мешалось. Ему бы так и оставаться в своей Швейцарии. Здесь ему было не место. Как золотой рыбке в пруду с пираньями. К тому же холодном. Добрые люди у писателя не получались. Как только он за них брался, его тут же покидал талант. Он с ними цацкался, их обласкивал, а они попеременно то краснели, то бледнели. Чаше всего со стыда. Никогда со злости или страсти, не говоря уж об алчности. Поэтому я был за Рогожина. Уже хотя бы ради одной его фамилии. Темной, глухой, с таким полукруглым, острым «ж», как нож, перерезающий горло во мраке ночи. Фамилии нарочито плебейской и одновременно зловещей. Мне тогда казалось (кто знает, может, и до сих пор так кажется), что он был единственным живым среди всех этих болтливых кукол. Что в его жилах текла настоящая кровь, а не раствор из взглядов и мутная взвесь из чувств. Остальные живут, будто поджариваются на огне, шкворчат, извиваются, но, схваченные настоящим огнем, могли бы максимум затрещать на мгновение и превратиться в кучку пепла, как ночная бабочка над свечой. Рогожин бы истекал кровью, ругался и хлестал горячей сукровицей, пытаясь погасить пламя. В последней сцене, когда князь приходит к нему в его темную комнату, везде валяются вещи Настасьи. Части туалета, белый шелк, ленточки, кружева, бриллианты, цветы, но что в остатке? Лежит ли под смертным покровом какое-то тело? Вылущенная из сверкающих, обманчивых нарядов — существует ли Настасья?

Или, может, подобно змее — или змеице — непрерывно меняющей блестящую, переливчатую кожу, она просто исчезла, оказавшись очередным воплощением гипнотизирующей тщеты? «...На белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен». И так бы мы и остались с этим мрамором и гипнозом, если бы не Рогожин, который даже в смерти умел вдохнуть жизнь: «Я ее клеенкой накрыл, хорошею, американскою клеенкой, а сверх клеенки уж простыней, и четыре стклянки ждановской жидкости откупоренной поставил <...> Потому, брат, дух». Да. Четыре стклянки вместо четырех свечей.

В последние годы я много раз проезжал через Россию. Быстро, как можно быстрее. Чтобы притормозить только где-то в Азии, в степях, в пустыне, на Памире. Я ехал дни напролет, прерываясь на сон. Снижал темп только на Алтае или на берегах Сырдарьи. Будто черт меня гнал. Я разговаривал только с дальнобойщиками на ночных стоянках, с заправщиками на АЗС. Иногда кого-то подбирал. Но продолжал мчаться, гонимый чертом или достоевскими бесами. И замедлял ход, только когда лица смуглели, волосы темнели, глаза сужались. Словно боялся, что завязну среди призраков, а они убедят меня в своем существовании, и в конце концов я превращусь в одного из них. В одной книге я даже написал, как пытаюсь стать русским. То есть повествователь, вводимый во искушение на краю казахских просторов в поселке Степной современным последователем Достоевского. На антиподах мрачного севера с верблюдами вместо северных оленей. Но повествователь трусит — совершенно как поляк. Совершенно как поляк. Трезвеет и едет дальше, потому что ужаснулся распоясавшемуся уму, свободе речи и воображения, представляющего себе непредставимое. И смылся. Мы смылись. Я, повествователь, автор — все. Я бежал со всех ног от Достоевского по плоской, песчаной стране и высматривал первые фата-морганы. Иллюзиям, в которые можно уверовать, я предпочитал настоящие. Которые — скажу, наконец, начистоту — кажутся столь извращенно притягательными. Манят возможностью перевернуть мир с ног на голову. Манят неизведанной свободой. Раз добрый князь погружается в беспamięтство, а его сердце и душу сжирает настоящее безумие, то что теперь? Видимо, все позволено. Христос не воскресает. И правы были те, кто предавался оргии собственного иступления. Топили печь жизни сухим хворостом чувств. Огонь обжигал, но не грел. Потлач страстями и всеожжение собственных капризов. И как же? Остается Рогожин?

Настоящие фата-морганы начинались вместе с каспийской депрессией. Минус пятнадцать метров, двадцать ниже уровня моря. Из высохших солончаков выходили фигуры на ходулях. Не то человеческие, не то звериные. Прекрасные и люциферические. Сотканые из мерцающего света на тон темнее воздуха. Казалось, они движутся в сторону дороги. Вокруг не было ничего. Пустота. Иногда встречались мусульманские кладбища, напоминающие обезлюдившие города или покинутые замки. И никого. Никаких требовательных назойливых голосов. Тишина. Пыльная, знойная тишина. И только эти настоящие призраки, идущие ко мне. Видя их, я радовался, хотя они постоянно исчезали, чтобы освободить место для следующих.